

«Мы сами убивали себя. Непонятно, зачем»

Журналист Юрий Сапрыкин рассказал «Платформе» о том, как эклектичность государственного подхода к революции 1917 года отражается на восприятии российским обществом своего прошлого и настоящего.

Как государство отработало столетие революции как информационный повод?



Юрий Сапрыкин

Государство очень специально старалось не давать оценки революции, и это признак не его незрелости, а эклектичности его идеологии. В ней революция — это момент основания Советского государства, с которым связано все хорошее: гимн, победа над фашизмом, полет в космос, ядерный щит, великие достижения и все на свете. Сказать, что революция здесь ни при чем, было бы нечестно. С другой стороны, это восстание, то, чего нынешняя власть уже на уровне терминологии не то чтобы боится, но крайне не одобряет. Объяснить людям, чем революция 1917 года отличалась от тех, которые происходят сейчас и которые власть крайне осуждает, было бы довольно сложно. Поэтому приходится отмечать это событие, ничего о нем не говоря по сути. Пожалуй, первое внятное высказывание — это выступление Володина в конце октября, в котором он интерпретировал революцию с крайне консервативных позиций.

Эта эклектичность возникла не случайно, она государству зачем-

то нужна. Отказаться от советского опыта, символики, способа управления обществом через ностальгию по советскому государству не может. Не может оно отказаться и от консервативной охранительной идеологии, воспевающей стабильность и отрицающей право самостоятельных общественных сил даже на критику, не говоря уже о восстании. Поэтому приходится сидеть меж двух стульев.

Почему сейчас так сложно понять – что в 1917 году вообще произошло? Почему спектр оценок так широк: от «солнечного удара» Никиты Михалкова до «надрыва общества» Андрея Зубова?

Потому что очень много интерпретаций революции было всегда, с самого начала. Это самое противоречивое событие за всю историю нашего общества. Нам казалось, что несколько десятилетий назад была единодушная интерпретация – потому что советская власть, советская идеология нам эту интерпретацию навязала. На самом деле, ее не было и тогда. Если воспринимать русское общество не только как людей, живших в Советском Союзе и подвергшихся этой идеологической обработке, но включать и эмиграцию, где укоренились традиции инакомыслия, мы увидим, что даже в 1970-е годы о революции говорили по-разному. Мы – наследники этих интерпретаций. Как только мы начинаем об этом задумываться, нам в готовом виде предлагается полный набор: от того, что говорит о революции Анпилов, до версий Солженицына или того же Зубова. Пожалуйста, выбирайте!

Есть популярные тесты политических координат. Вы отвечаете на вопросы, а алгоритм ставит точку в какое-то поле политического спектра. Так и отношение к революции зависит от ответов на очень многие вопросы, начиная от того, было ли это восстание заложено в историческую матрицу, предопределено, или оно было результатом воздействия неких внешних сил. Отвечает ли советская власть национальному духу, или оно ему полностью противоречит? Оправданны ли чем-либо невинные жертвы в пользу высоких исторических целей, или нет? И окажется, что вариантов расстановки точек на этом поле политических предпочтений даже не десятки, а сотни. И договориться по этому поводу

действительно невозможно — не знаю, что должно произойти, чтобы это случилось. Может быть, Путин должен выйти, грохнуть кулаком и провозгласить: «Революция — это плохо». И все равно это никого ни в чем не убедит, все равно это останется поле для дискуссий и политических интерпретаций.

Получается, что разговор о революции — это разговор о будущем России?

О желаемом будущем. Отношение к революции очень сильно зависит от отношения к сегодняшнему дню. Это зеркало, в котором мы видим ту же картину, которую мы представляем, говоря о России сегодня. В недавно вышедшей книжке о революции Михаила Зыгаря «Империя должна умереть», буквально каждое описываемое событие снабжено сноской и к каждому событию подводится параллель из нынешней реальности. То, как Николай относился к идее созыва всенародного представительства и введению конституции, и то, что ему нашептывали царедворцы, — все это рифмуется с нынешней практикой администрацией президента. Радикальные силы вели себя похоже, и так далее.

Что в современной России от России дореволюционной, а что от советской?

Сначала нужно разобраться, а что в России советской осталось от России дореволюционной? Мне кажется, это тоже важный вопрос. Советское время — это в некотором смысле продолжение, или резкий крен и разворот? Когда мы смотрим на лозунги, на положение тех или иных классов и сословий, нам кажется, что все стало совсем по-другому. Но когда мы смотрим на практику управления, отношения власти и народа, отношение России к окружающему миру, к Западу, то вдруг начинает казаться, что, может быть, не сразу, не с 1917 года, но со сталинского правления, проступают очень похожие черты. Склонность управлять страной как единоличным хозяйством, как своей собственностью, неуважение к праву и сомнительный статус собственности, любовь к сильной власти и презрение к любой власти, как только она становится чуть менее сильна, — все эти

черты достались нам не от советской, а от гораздо более далекой России.

Нам сегодняшним от дореволюционной России досталась культура, которую мы не до конца понимаем и плохо чувствуем, нам непонятно, почему такие звуки написаны в этих симфониях и операх. А от советской — устройство общества в целом: вертикаль власти, роль тайной полиции, привилегии и собственность, раздаваемые союзникам власти, принцип кнута и пряника, с помощью которого государство управляет интеллигенцией. За вычетом массовых репрессий и государственной собственности, наверное, очень многое осталось прежним. Хотя это, конечно, это очень важный вычет.

Можно ли как-то связать эти периоды в общие линии, условно говоря, сделать скамью из этих двух стульев?

Чтобы связать современную, советскую и старую России одну линию, нужно совершить очень сильный логический кульбит. Грубо говоря, вычеркнуть из истории Ленина, оставив Сталина.

Одно время Россия пыталась переодеться и сделать апгрейд своему имперскому мундиру. Этот момент с переодеванием лучше забыть, с точки зрения сегодняшней власти вообще переодеваться не надо.

Поэтому нынешняя официальная идеология пытается как-то всех объединить на некоторой воображаемой общей платформе. Сергей Радонежский — это хорошо, и Сталин — это хорошо, потому что они были за сильное государство. На самом деле, они были за очень разные вещи, но их отношение к власти нынешнее государство вполне устраивает.

Но ведь и Сталин начал возрождать старые идеалы, что не слишком вязалось с революцией.

Александр Невский и все остальное было уже накануне и в начале войны. На самом деле, было ж страшно — за что люди будут сражаться? За коммунизм? За колхозы? За Сталина? Будут ли? А

за Александра Невского, за Россию – будут. Конечно, фильм Эйзенштейна был снят исключительно ради того, чтобы поднять патриотические чувства и вдохновить всех на борьбу словами, вложенными в уста Александра Невского. Была активирована национально-имперская идеологическая составляющая. Нынешнее государство второго путинского срока с ней тоже активно работает. Этот мундир ему не жмет, прижился, воспринимается как привычный, органичный. Да, здесь есть прямая преемственность, но с не дореволюционной, а со сталинской Россией. В первом случае это трагедия, во втором фарс, но вообще это все про одно и то же.

Как эта эклектика влияет на общество? Не расшатывают ли она мозги населения?

Наверное, расшатывает, но не в большей степени, чем массовая уверенность в том, что Ленин – это великий вождь революции, а коммунистическая партия ведет нас верным курсом к светлому будущему. К сожалению, нам нечем похвастаться в последние 100 лет в области государственной идеологии – нельзя сказать, что она раньше была правильная, а теперь стала неправильная. Она сводилась к штампам, объектам поклонения, наклейкам на заднем стекле автомобиля, которые позволяли власти компенсировать людям разные жизненные неудобства через национальную гордость и прочие светлые чувства. Естественно, чтобы управлять ими.

Как российское общество должно относиться к революции?

Если взвешивать это все на весах объективности, то, наверное, правда лучше, чем ложь. Нам всем помогло бы коллективное признание взаимной вины. Должен однажды прозвучать вопрос: «Дорогие друзья, мы тут за последние 100 лет переубивали несколько десятков миллионов собственных сограждан – мы вообще понимаем, зачем это было? Что нужно сделать, чтобы это не повторилось? Чувствуем ли мы какую-то общую вину за это? Даже не за то, что мы сделали с сопредельными странами, насадив там коммунистические режимы, – а за судьбу собственного народа, наших предков, родителей?» Я очень надеюсь, что когда-нибудь

мы к этому придем. И я очень не хочу, чтобы в этом разговоре снова начинался поиск виноватых и жертв, мол, давайте мы осудим внуков палачей и повинимся перед внуками жертв. Это очень популярный сейчас разговор. Я считаю, что мы все внуки и тех, и других.

За 100 лет все так переплелось... Я одновременно чувствую собственную наследственную вину за то, что произошло. Тот факт, что мои предки выжили, не были расстреляны и не отправились в ГУЛАГ, заставляет предполагать, что они были какими-то выгодоприобретателями от этого режима. С другой стороны, я чувствую себя наследником жертв, потому что советская власть творила с ними страшные вещи (не дай бог никому), несмотря на то, что ГУЛАГа они миновали.

В идеале общество должно прийти одновременно и к коллективному покаянию, и к ощущению страшной вещи, которую мы сами с собой сделали. Не специально нанятые инородцы, германские агенты, евреи, свалившиеся с неба чекисты и кgbэшники. Мы сами убивали себя. Непонятно, зачем.